

Роджер ХЭТТЛАНД

ПОЛЕМИКА АДАМОВИЧА И ХОДАСЕВИЧА

перевод с английского М.Т.

Роджер ХЭТТЛАНД — американский славист, сотрудник Университета Северного Иллинойса. Публикуемая статья переведена по *Slavic and East European Journal*, vol. 20, № /1976/, pp 239-252. Цитаты из эмигрантской периодики даются в обратном переводе.

Десятилетие 1925 – 1935 отмечено оживленными дискуссиями в среде русской эмиграции. Экспатрианты в своих рассеянных по всему миру колониях обсуждали возможность выживания русской литературы за рубежом: оптимисты клеймили своих оппонентов пораженцами, а пессимисты упрекали всех прочих в слепоте. В Париже, центре этих дебатов, два поэта и критика – Георгий Адамович и Владислав Ходасевич разделяли глубокую озабоченность судьбой русской литературы, хотя их взгляды были крайне различны. Их полемика интересна не только отражением драматизма той эпохи, но и тем, что оба писателя были движимы искренним желанием спасти русскую культуру. В то время как внутренние источники их поэзии, казалось, истощились в безразличном мире чужбины, оба поэта стали анализировать свою новую экзистенцию с тем, чтобы определить крайне неясную будущность. Каждый, движимый чувством моральной ответственности, издавна чуждой русскими поэтами и критиками, боролся за преодоление личных трудностей и за выбор верного направления пребывавшей в полной сумятице русской эмигрантской культуры. Стимулируемые тяжестью литературной ситуации, они были вынуждены годами изучать основные проблемы природы и роли искусства, тщательно формулировать идеи о традиции, личности художника в обществе. В результате, их дискуссия по основным литературным принципам приобрела значение, далеко выходящее за рамки исторического контекста. Изучение этой полемики позволяет не только постичь идеи и сами личности этих незаурядных критиков, но и осветить основные проблемы культуры русской эмиграции.

Центром дискуссии стали вопросы об источниках вдохновения и по практическому обучению литературной смене творчеству. В дополнение к ветхозаветным предупреждениям о зарывании таланта и русской идее литературы как важной общественной силы, многие эмигранты полагали, что новое литературное поколение сможет развиваться лишь вне России. Уже в конце 20-х годов положение советской литературы стало казаться им весьма мрачным: талантливые писатели, способные продолжать великие традиции, вовсе не вдохновлялись новыми прерогативами советского государства. Хотя среди эмигрантов никогда не существовало единого отношения к советской действительности, они чувствовали общую ответственность и уверенность в том, что все рус-

ские культурное наследие — в их руках. Как сохранить его и взрастить на новой почве? Естественным образом проблема сфокусировалась на молодом поколении. Одной из главных причин расхождения двух критиков была оценка роли литературной традиции для творчества молодых поэтов. Обсуждалось как развитие поэтики, посредством которой автор выражает реалии своего внутреннего мира, так и степень изучения им своих предшественников. Ходасевич, относивший истоки своего творчества к Пушкину и Баратынскому, занял "классическую" позицию: молодые писатели должны бережно относиться к традиции, изучать лучшие образцы. Адамович не соглашался. Его, более "романтический" взгляд состоял в том, что идеи и чувства должны исходить свободно — не сдерживаемые эстетическими канонами, они должны звучать естественным, повседневным голосом поэта. Для него важным было сохранение не установленной литературной традиции, а индивидуального поэтического сознания.

Адамович¹, поэт молодого поколения, связанный с акмеизмом покинул Петроград в 1922 году, а на следующий год обосновался в Париже, где скоро стал известен как ведущий критик литературного еженедельника "Звено"². Ходасевич³ был восьмью годами старше и уже завоевал признание; он присоединился к парижской колонии в 1925 и вскоре стал редактором поэтического отдела одной из трех ежедневных русских газет "Дни"⁴. Их первое столкновение было вызвано поэтическим конкурсом, который организовало "Звено". Конкурсные стихи были собраны и отрецензированы жюри /Адамович, З.Н.Гиппиус, К.В.Мочульский/ и опубликованы. Читателям предложили оторвать купон газеты и проголосовать. Когда был объявлен победитель, Ходасевич выразил свое резкое неодобрение⁵. Он заявил, что подобное массовое признание не является доказательством серьезности поэта, что читательская публика некомпетентна в оценке поэзии, а, в конце концов, раскритиковал победителя. Адамович ответил в ближайшем выпуске⁶. Он согласился, что голосование анонимных читателей не может служить веским доказательством качества поэзии, но подчеркнул, что "диалог" читателей и поэта был "заманчивым" и ценным для обеих сторон. Ходасевич промолчал. Собственно, обсуждать было нечего, инцидент был исчерпан. Поэт старшего поколения заявил в парижской прессе свою авторитетную готовность обсуждать, вопрошать и определять. Дискуссионная канва также была выявлена, Ходасевич, упрямый

и суровый, был прирожденным спорщиком — его атаки всегда бывали безжалостны и убедительны. Адамович, не испытывавший пристрастия к публичным схваткам, предпочитал уклониться от прямой конфронтации. Его любовь к изяществу и парадоксам и презрение к абсолютной познавательности раздражали Ходасевича, требовавшего точности и постоянства в формулировке литературных проблем, но Ходасевич всегда был готов ответить на новые, порой непреднамеренные выпады Адамовича.

Подобный инцидент произошел годом позже, когда Адамович, разбирая поэзию Пастернака, упомянул Пушкина, заявив что мир "намного сложнее и богаче", чем это казалось Пушкину⁷. Он писал, что Пастернак, исследуя человеческие переживания, незнакомые Пушкину, был вынужден отказаться от пушкинских "заветов ясности" ради полного выражения своего внутреннего мира. Для Ходасевича любое принижение Пушкина казалось кощунственным, и он моментально ответил статьей "Бесы". С неуклюжей иронией он утешал Адамовича в его неспособности понять и восхищаться Пушкиным тем, что Адамович вовсе не одинок. Потом, после тщательного разбора других положений статьи, Ходасевич перешел к самому заболевшему — отношению современной литературной традиции к ее величайшему поэту. Он напомнил читателю, что в Советском Союзе солнце Пушкина закатилось, и заявил далее: "Наша насущная необходимость — защититься от бесов здесь"⁸.

"Бес" из "Звена", не реагируя на обидный эпитет, сразу ответил статьей. Адамович отказал Ходасевичу в праве быть "поверенным в делах Пушкина" и, отдав дань стилистическому совершенству Пушкина, снова стал отрицать его всеобъемлемость. Он обратился к другому поэту, который "бессознательно отверг заветы" Пушкина: "Бедный риторик Лермонтов с его бесчисленными изъянами все же знал кое-что, чего не знал Пушкин. Он не говорил, что знает это, и мудро молчал, улыбаясь, когда другие вздыхали. Только по этой причине совершенство Пушкина уцелело и не было оспорено другими"⁹. Конечно, Адамович говорил о Пушкине и Лермонтове с большой долей субъективизма, что, впрочем, и не удивительно. Ходасевич позднее вырвал это замечание из контекста, хотя Адамович, скорее, только лишь намекал здесь на свои воззрения. Тем не менее за этими спорами о превосходстве стоят фундаментальные расхождения в их отношении к поэзии. Беглый обзор рецензий Ходасевича в газете "Возрождение"

открывает интересный момент: первым делом он определяет место поэта в литературной традиции. Так учителями одних поэтов он называет Вяч.Иванова и Брюсова, других — Блока, Гумилева и самого себя /27 июня 1926/. В другом месте он объявлял, что молодой поэт "учился, в основном", у Пушкина, Баратынского и Тютчева, и "в меньшей степени" у Блока /II апреля 1927/. Про одну поэтессу сказано, что она обладает "реальной поэтической традицией", а про другого автора — что его "мастера" это — Тютчев, Фет и молодой Брюсов /10 ноября 1927/. Таков характерный подход Ходасевича. Традиция для него была не только точкой отсчета в критике, но и основой всего литературного мышления. Однажды, отказывая футуристам в значимости, он писал: "Завтрашняя поэзия должна быть духовно обязана со вчерашним днем, а не с сегодняшним" /27 июня 1926/. Размышляя о будущем, он свел его с великим прошлым: "Поэтика Пушкина возродится, когда возродится Россия" / II апреля 1927/. Роль эмиграции он формулирует так: "Сохранить язык и культуру — вот все, что требуется от русского писателя на чужбине, независимо от того, молод он или стар" /2I апреля 1927/.

Весьма непривычным было в то время слышать, что основная "миссия" эмиграции — сохранение культуры, но Ходасевич был убежден, что это сохранение должно быть основано и на активном участии: молодые писатели должны изучать традицию и работать в ее рамках. В то время для эмиграции особую важность приобрели литературные журналы, так как зачастую не было ни средств, ни достаточного количества читателей для выпуска отдельных изданий. Поэтому, когда в 1932 году "Воля России" прекратила свое существование в Праге, а парижские "Современные Записки" сократили количество выпусков с шести до четырех в год, Ходасевич обратился к читателям за помощью "Запискам". "Долг каждого эмигранта, — подчеркнул он, — принять активные меры для сохранения журнала. Это всего лишь проявление инстинкта культурного самосохранения".¹⁰ Нетрудно понять, почему непочтительные ремарки критика в адрес Пушкина, образца традиции, которую надо спасать, показались Ходасевичу безответственными, даже бесовскими. Не удивительно и то, что достаточно скоро Ходасевич не только стал утверждать необходимость ученичества для молодых эмигрантов, но и дал понять, что сам он не прочь стать их мэтром.¹¹

Адамович не верил в ученичество и полагал, что любых поучений надо всеми силами избегать. В одной из своих первых статей /1923/ он заявил, что программы и манифесты не помогут поэту сочинять: "Поэтическая теория — это выводы, а не предпосылки". Он подчеркивал, что независимость и непосредственность — основные аспекты поэтического творчества, уверяя, что "ученики" недалеки от "имитаторов".¹² Об имитации он знал не из последних рук: в ранних стихах Адамовича явственно видны следы его кумиров — Ахматовой, Анненского и Блока. Он упорно трудился над преодолением литературной зависимости и не прочь был поделиться своим опытом. Уже в 1927 году Адамович проявил недовольство "приглашением к ученичеству" Ходасевича. Адамович писал, что недавно услышал о "парижской школе русской поэзии", которая покончила со всеми "измами" и отвергла традиционную географическую ориентацию на Москву и Петербург. Теперь, заметил он, возникла некая общность парижских поэтов: "самая характерная примета молодых поэтов здесь — это подражание В. Ходасевичу. Отсюда и происходят все беды — от слепого подражательства". Определив Ходасевича как "исключительного мастера, одного из самых способных и требовательных наших поэтов", он заявил, что школа Ходасевича — бессмыслица, т.к. самое главное качество поэта — его самовыражение, которому не научишься. Подражатели, способные воссоздать лишь внешнюю оболочку, "обречены на забвение".¹³ Адамович оспаривал не кандидатуру Ходасевича на роль мэтра, а эту роль вообще.

Свой характерный подход Адамович выразил в обзоре 1928 года творчества нескольких молодых поэтов, живущих в Праге. "Самый важный вопрос, — утверждал он, — это то, о чем они пишут — не как, а что".¹⁴ Позднее он, косвенно возражая Ходасевичу, писал: "Некоторые призывают ~~назад~~ к Пушкину", но изучение пушкинской простоты стиля с формальной точки зрения не даст ничего. Нам нужно учиться не тому, как он постиг ясность, а тому, что "служенье Муз не терпит суеты".¹⁵ Здесь Адамович давал понять, что те, кто собираются брать у Пушкина уроки полировки стиха, должны помнить, что сам Пушкин предупреждал против суеты формализма.

Между тем у Ходасевича нашлись последователи, образовавшие группу "Перекресток". Когда в 1930 г. появился их сборник, рецензия Адамовича была неизбежной. В своем обзоре он объявил, что пушкинская "строгость форм" этих поэтов совершенно

не соответствует смыслу стихов: "Они взяли у Пушкина оболочку, но то, что для него было покровом живого организма, "кожей", на них висит как чехол". Он призывал их отказаться от "классицизма и строгости" и говорить естественными голосами.¹⁶ В то же время Адамович неподдельно восхищался Пушкиным. Однажды он написал, что изучение Пушкина сделает юные умы "щедрее, сильнее благороднее и порывистее".¹⁷ Однако он был против его канонизации, превращения поэта в икону, уничтожающую жизненную силу стихов. Поэзия Пушкина была чудом гармонии и пропорции — этого Адамович не оспаривал никогда — но пушкинские формы были его собственными неповторимыми стилистическими открытиями. По мнению Адамовича, проблема заключалась в том, что молодые поэты, восхищенные внешним блеском, попытаются подражать и обзавестись "чехлами", забыв о собственном "лирическом смысле". Ему казалось, что Ходасевич усиливает эту опасность. Вот почему Лермонтов, публиковавший неотполированные, порой страдающие формальными погрешностями стихи, не привлекал потенциальных подражателей и имел столь большое значение для Адамовича и его единомышленников. Вдобавок, многие эмигранты чувствовали особую близость к Лермонтову, так как его жизнь тоже была отмечена знаком политического и метафизического изгнания. Он вдохновлял их потому, что, несмотря на одиночество страдания, был способен создавать "музыку". Адамович писал в 1931 г.: "Сейчас Лермонтов — это не учитель, а друг. В его стихах душа узнает себя, вопрошает, надеется".¹⁸

Оба критика пристально следили за новыми талантами, и не было сборника русской поэзии, изданного в Париже, Берлине, Праге, Варшаве или других центрах эмиграции, миновавшего их стол. Просматривая десятки обзоров, написанных ими в тридцатые годы, поражаешься, насколько часто совпадали их оценки. В то же время Ходасевич оставался верен строгим оценкам стилистического мастерства, а Адамович охотно прощал формальные огрехи, если чувствовал индивидуальность и непосредственность автора. Он считал, что писатели любого поколения должны открывать в своем собственном существовании неизменные реалии человеческого бытия /любовь, смерть, Бога, судьбу/, которые образуют основу творчества всех великих поэтов и всех великих школ. Без этого, верил он, никакая традиция не может стать жизнеспособной.

К 1930 году Адамович обнаружил себя в той роли предводителя, в которой когда-то отказывал Ходасевичу. Его взгляды стали разделять Георгий Иванов и Николай Оцуп — тоже "петербургские" поэты, которые в начале 1930-х годов опередили направленность нового журнала "Числа". Вокруг этого ядра и формировалась так называемая "парижская школа русской поэзии".¹⁹ Была ли эта школа на самом деле — вопрос спорный, но Георгий Федотов, который в 1942 г. подвел итог эмигрантской поэзии в Праге, настаивал на том, что эта школа была, и ее следовало бы назвать школой Адамовича — молодежь "следовала за Адамовичем, очаровывалась им" /Федотов, "О парижской поэзии"/.

Одной из причин популярности Адамовича была та симпатия, с которой он относился к начинающим авторам, более дезориентированным в изгнании, нежели старшее поколение, уже вкушившее славы. Молодым писателям приходилось бороться за свое духовное существование, не говоря уже о материальном. Технически Адамович находился между старыми и молодыми литераторами /причем, молодыми не по возрасту, а по началу литературной деятельности/ и ему было несложно говорить от лица последних. "Числа", организованные Николаем Оцупом и другими, представляли собой форум молодых писателей, которым не нашлось места в почтенных "Современных Записках" и было трудно публиковаться вообще.²⁰ Новый журнал должен был обеспечить возможность их выступлений и организовать их в единое направление.

В первом же номере "Чисел" Оцуп выразил надежду, что на страницах журнала разовьются новые тенденции, "нечто совсем новое и ценное". Он писал, что изгнание углубило жизненный опыт эмигрантов, и, упомянув Марселя Пруста, заметил, что внедрение в западную культуру должно обогатить их творчество. "Ужас", который испытывали эмигранты /без сомнения, Оцуп имел в виду хаос революции и гражданской войны, так же как и невзгоды изгнания/ заставил их думать "о самых важных и самых простых" вещах. Затем он объявил, что "Числа", в основном, будут писать о "цели жизни и смысле смерти".²¹

Статья, написанная Адамовичем, требует особого внимания, так как она выражает его парадоксальное и противоречивое положение лидера. В своем эссе, после разбора основных различий русской и французской культур, он писал, что русская литература после долгих обращений к Богу и бесплодных ожиданий ответа, прекратила эти поиски и осталась "лицом к лицу с человеком".

В заключение он декларировал "конец литературы", имея в виду не конец книг, читателей и критиков, а нечто другое. "Литература подошла к своему концу в сознании отдельной личности. Дело в том, что по своей природе она - вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать". Затем в живых и оригинальных выражениях он обрисовывает тщетность высшей правды /несомненно, это реакционной статьи Оцуна/: "Вы как будто безжалостно срываете лист за листом в надежде обнаружить самое истинное, самое существенное. Но его нет. Есть только листья, как у кочна капусты".²² Зная поэзию Адамовича, нетрудно предположить, что это утешительное послание другим поэтам, переживающим подобное одиночество, утрату веры, духовный тупик. Очень занята эта ~~эта~~ статья, появившаяся в журнале, претендующем якобы на создание нового литературного движения, особенно если учесть, что Адамович быстро становился "властителем дум"! Тон статьи был пессимистическим, и казалось, будто автор призывает к безмолвию, если вообще к чему-то призывает. И все же его подкупающая искренность все более привлекала молодых поэтов.

Фраза о русской литературе, оставшейся "лицом к лицу с человеком", могла бы стать эпиграфом "Чисел", возможно, вместе с заявлением Оцуна про обогащение от Западной культуры. В это время на Западе многие вопросы индивидуальной психологии личности стались впервые или, по крайней мере, по-иному. Имена Жида, Пруста и Джойса были на устах у всех, кто интересовался литературой, включая и организаторов "Чисел". Многие личностные мотивы появились еще в эпоху русского декаданса и получили развитие в 20-х годах, пока не были официальным образом заменены в советской литературе на общественные проблемы. "Числа", вдохновленные такими литераторами, как Зинаида Гиппиус, хотели заинтересовать русских эмигрантов "западными" темами. Когда Адамович пишет о личности или о человеческом бытии в литературе, или о переживаниях, неведомых Пушкину²³, надо иметь в виду весь контекст культурной жизни эмигрантов, влияние на них современных нерусских источников. Только так можно понять до конца его критику формального следования литературной традиции /"чехлы"/, его поощрение личного и искреннего в молодых поэтах, его советы отвечать лишь перед своим внутренним миром, отвергая формальный блеск и углубляясь в собственную натуру, а не подбирая слова к "мыслям и чувствам, которые бессилён передать другим".²⁴

Адамович-поэт сражался с "концом литературы" в себе самом. Его взгляды на тяготы эмиграции неизбежно окрашивались личными чувствами, которые колебались от веры в будущее до глубокого пессимизма. Тем не менее, он всегда сознавал поддержку тех, кто смотрел на него как на "властителя дум", и прекрасно понимал трагизм эмиграции, требовавший отражения в единственной знакомой ему форме — стихах. Тем временем Ходасевич продолжал выражать симпатию к молодежи и, открывая в ней достоинства, осуществлял свою роль лидера. В 1925 и 26 годах он поддержал и опубликовал молодых поэтов, не печатавшихся ранее. В большой статье 1932 г. он восхвалял поэтов, преодолевших жизненные трудности, и призывал к признанию их подвига.²⁵ Но его глубоко тревожило настроение внутренней бесцельности, растущее в Париже и исходящее в особенности от Адамовича, с его "потребительским отчаянием".²⁶

Несомненно, что Адамович и его друг Георгий Иванов, выросшие в декадентской атмосфере Петербурга, были авторитетами в формировании вкусов литературной молодежи. Зинаида Шаховская назвала их "неспоримыми руководителями парижской школы".²⁷ В начале 30-х годов многие молодые русские были завсегдатаями кафе на Монпарнасе, где они допоздна засиживались за кофе и выливкой. Холостяк Адамович, живший на Монпарнасе, часто вечерами становился душой этих сборищ, где слушали новые стихи и вспоминали Петербург. Владимир Варшавский, участник "Чисел" и тоже обитатель Монпарнаса, назвал этих людей "незамеченным поколением". Не принадлежащие французскому обществу и не привлекавшие внимания старшего поколения, они жили, говоря словами Варшавского, в экзистенциальном беспокойстве, в атмосфере "ужаса перед темной угрозой абсурда и небытия, невыразимом словами и образами".²⁸ Эти одиночество и бесцельность породили то, что было названо парижской нотой в эмигрантской поэзии — тенденцией к откровенно пессимистическому самоуглублению и формальному аскетизму. Несомненно, это направление было стимулировано петербургскими поэтами /Адамовичем, Ивановым, Оцупом/, но их персональное влияние не стоит преувеличивать, т.к. общее настроение парижских эмигрантов было, по определению У.Тьялсмэ, "глубоко прочувствованным опытом изгнания".²⁹

В 1934 году вышла книга Лидии Червинской "Приближение", которую Адамович высоко оценил. В своей рецензии он описал эти "пропадающие, растворяющиеся, бескровные, полуживые"

стихи как истинное выражение эмиграции. По его мнению, Червинской удалось выразить парадоксы русской эмиграции и, хотя книга знаменовала общий кризис поэзии, автора ее стоит приветствовать за искреннее выражение лирической реальности.³⁰ Ходасевич тоже рецензировал сборник. Признав за поэтом вкус, талант и "подкупающую правдивость", он вывел болезненное очарование стихотворений из отсутствия "литературного мировоззрения" и недостатка сил в доведении стиха до нужного финала³¹. Он также определил стихи Червинской как признак кризиса, который никоим образом нельзя приветствовать. В то время как Адамович провозгласил Червинскую образцом честности и искренности поэта, Ходасевич продолжал настаивать на том, что жизненные обстоятельства, давшие рождение ее стихам, настояны на самопрощении и жалости к самому себе — чувствах, которые следует преодолевать.

В течение нескольких лет продолжались разногласия критиков. Влияние Адамовича весьма возросло, и "Числа" /1930-1934/ продолжали печатать нетрадиционную литературу и питать противоречивую "парижскую ноту". Появление книги Червинской и отзыв о ней Адамовича стали катализатором идейной конфронтации критиков, которая была неизбежна.

В марте 1935 года Ходасевич заявил, что русских парижан ничего не объединяет в литературном смысле, и поэтому они не имеют права называть Париж поэтической столицей эмиграции. Он обвинил "мелких законодателей парижской поэтической моды" в принудительном облачении ~~мехи~~ поэтов в "униформу", имея в виду популярные темы смерти, духовного разобщения и истощения творческих сил. Он назвал типичного парижского поэта "лже-Прометеем", прикованным к столику кафе на Монпарнасе, осужденным за свою лень, а вовсе не за кражу огня у богов! Результат такого творчества, писал Ходасевич, "не трагедия, а мещанская слезная драма". Затем, непосредственно обратившись к "талантливым, но опасным" статьям Адамовича, он обвинил его в подталкивании авторов к творческому разрушению и заявил, что компромисса здесь быть не может: если молодые люди идут за Адамовичем и упиваются духовным упадком — им не стоит притворяться поэтами; в противном случае они должны заниматься своим литературным развитием. Отчаянье и творчество, заключал он, взаимно противоречат друг другу.³²

Адамович ответил на следующей неделе. Он сообщил читателям о "менторских поучениях" Ходасевича и заметил, что его совет быть внимательным к стилю и композиции достоин "человека, упавшего с луны", а не "одного из самых искусных поэтов 30-х годов". Перейдя на более серьезный тон, он согласился с тем, что у парижских поэтов отсутствует дисциплина творчества и что они больше заняты своими личными переживаниями, но назвал ошибочными и жестокими обвинения Ходасевича в том, что свою судьбу они "сделали сами", как будто они вольны были выбирать счастливую жизнь. Утверждая, что парижский настрой и творчество не находятся в противоречии, он согласился с тем, что столик в кафе можно уподобить скадам "настоящего Прометей" и в пример приводил "увечные строки" Червинской, более содержательные, по его мнению, чем строгие и выверенные стихи, которые обычно хвалил Ходасевич. Возвращаясь к своим словам об искусстве как выразителе внутреннего мира, Адамович писал, что законченная и гармоничная поэзия Пушкина основана на законченном и гармоничном мировоззрении, утраченном в современном мире. Адамович заявил, что человек в западном мире испытывает "болезнь личности", что подтверждается, например, упадком религиозной веры. Русские эмигранты, по его мнению, стали частью западной культуры, и их поэзия не может этого не отразить. Было бы странным, продолжал он, если бы поэзия в изгнании не издавала "отчаянных нот одиночества", а следовала совету Ходасевича: "пишите хорошие стихи, господа, важны ямбы и хорей, точные и чистые рифмы, ясная композиция". Сам Адамович призывал к человечности в литературе, к искренности в содержании, а не к заботам о форме. В заключение он отметил, что тема духовной деградации — вещь ^{со} немненно дурная, но "еще хуже — тема жизни, которой нет, тема игры в ясность и совершенство, тема благополучия музейных виршей"³³

Хотя ответ Ходасевича был обстоятелен, многое в нем повторялось из прежних обвинений и утверждений. Основным его стремлением было доказать, что путь к Монпарнасу вовсе не был единственно возможным. Еще до появления в Париже русских — тот квартал был "международным приютом неудачников, лентяев и декадентов всех мастей, полов и возрастов". Ходасевич был уверен, что русской молодежи вообще не следовало появляться в том квартале. Он согласился, что Европа не может производить "живую культуру" из-за отсутствия религиозного чувства, и объявил Париж — одним из центров, где культура

гибнет. Адамович же, прекрасно это сознавая, толкает молодежь прямо на путь разложения, которое никогда не совмещалось с творчеством.³⁴ Теперь уже почти все было сказано, и ответ Адамовича был краток. Он заметил, что религиозность в европейской культуре несомненно утрачена, но это не означает гибели культуры. "Кто знает, — писал он, — может, мы сами работаем на разрушение?"³⁵

Полемика 1935 г. вовсе не была прямолинейно однозначной. По ряду фундаментальных вопросов разногласий у критиков не было: оба осуждали формальное экспериментаторство и требовали простоты.³⁶ Михаил Цетлин, их современник, подводя итоги, указал, что Ходасевич не отрицал важности человечности и тем смерти и распада в поэзии, а Адамович осознавал необходимость формального мастерства. По Цетлину, их основное расхождение заключалось не в существе вопроса, а в "акцентах".³⁷ Оставив в стороне вопрос о времяпрепровождении поэтов, что, строго говоря, — вне литературы, он свел конфликт к проблемам вкуса /ясная гармония Пушкина или тихая усталость эмигрантской жизни/ и — самолюбия.³⁸ Было общеизвестно, что Ходасевич был разочарован отсутствием признания, на которое он рассчитывал. Владимир Набоков писал в своих воспоминаниях, что Ходасевич жаловался ему на молодых поэтов-эмигрантов, которые заимствуют у него мастерство, а курят фимиам клике Мережковского и Адамовича.³⁹

Глеб Струве, разбирая эту полемику в своей книге об эмигрантской литературе, не вполне основанно признавал победу за Ходасевичем. Он утверждал, что смысл дискуссии в том, что стихи должны заключать нечто большее, нежели искренний дневник или исповедь, — а именно — искусство.⁴⁰ Возможно, это и так, но редактор литературного отдела "Современных Записок" М.Цетлин считал, что призыв Адамовича к искренности и самоуглублению был "более оправданным и плодотворным на данном этапе", нежели отсылки Ходасевича "к бодрости, разнообразию внешнего мира". Цетлин напомнил читателям о важности близости литературы к жизни и реальности и отметил, что "возврат к внутренним реалиям человеческой души, как бы она ни была расколота, унижена и "упадочна", может вдохнуть в поэзию жизнь".

Оба критика, пожалуй, с наибольшим блеском показали, какой не должна быть поэзия: Ходасевич опасался культурной безграмотности и утраты блестящих достижений прошлого русской литературы,

а Адамович — поэзии, подражающей мертвым традициям, неспособной выразить личность. Обе точки зрения представляют значительную ценность и, несмотря на поляризацию и преувеличения в дискуссии, не так противоречивы, как кажется с первого взгляда. Относительно вопроса "Что делать?" ни тот ни другой не создали реальной программы; оба видели будущее в мрачном свете. Но, как указал Струве, Ходасевич был настроен более пессимистично и, возможно, был неправ, заклеив Адамовича "разрушителем веры" молодого поколения. На самом деле, именно Адамович, восхищаясь переменами в западноевропейской культуре, предполагал возможность появления истинно нового на основе опыта русской эмиграции, включая и ее контакт с Западом. Именно он указывал писателям новые пути творчества. В то время как Ходасевич взывал к формам прошлого, Адамович призывал литераторов входить в общий культурный поток, предвещая в противном случае отчуждение и духовную гибель. Возможно, их опыт вызовет к жизни несколько строчек настоящей поэзии, настоящего искусства. "Кто знает?" — вопрошал он в своей последней полемической статье.

Такая позиция вносила элемент азарта и требовала определенной доли веры. Адамович и был игроком — из тех, кто часто вспоминает известное пари Паскаля о существовании Бога. Хотя его всегда преследовали сомнения и отчаянье, он, как и Паскаль, выбрал веру и надежду, но того же скептического свойства, как и его предшественники — Лермонтов и Блок. Для него блестящая ясность Пушкина не соответствовала реалиям эмигрантской жизни. В 1962 г. он писал: "Мне кажется, что основное различие между Пушкиным и Лермонтовым в том, что когда Пушкин говорит "совершенство", Лермонтов говорит "чудо".⁴¹ Подобно Лермонтову, Адамович и многие его товарищи по изгнанию долгие годы продолжали ждать и надеяться на это маловероятное чудо.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Георгий Викторович Адамович /1894-1972/ опубликовал в России книги стихов Облака /1916/ и Чистилище /1922/ и два тома стихов в эмиграции: На Западе /1939/ и "Единство" /1967/. См. мою работу "The Poetry of Georgij Adamovič".

² Еженедельник "Звено" /1923-1928/, основан П.Н.Милюковым и М.М. Винавером.

³ Владислав Фелицианович Ходасевич /1886-1939/ в 1927 году опубликовал в эмиграции Собрание Стихов.

4 Дни /ежедневн. газ. 1922-28/, в которой оба нередко сотрудничали, была основана А.Ф. Керенским. С 1928 года Адамович на одиннадцать лет становится ведущим критиком газеты "Последние новости /1920-1940/, издаваемой П.Н. Милюковым, а Ходасевич сотрудничает в Возрождении /1925-36/, основанной П.Б. Струве.

5 "Конкурс Звена", Дни, 14 мая 1926.

6 "Литературные беседы", Звено, 21 марта 1926.

7 "Литературные беседы", Звено, 3 апреля 1927.

8 "Бесы", Возрождение, 11 апреля 1927.

9 "Литературные беседы", Звено, 17 апреля 1927.

10 "Современные записки", Возрождение, 29 ноября 1932. После закрытия журнала Воля России — только два издания: Современные Записки /СЗ/ и Числа продолжали традицию литературно-художественных журналов.

11 "Молодые поэты", Возрождение, 26 июля 1928.

12 "На полустанках", Звено, 8 октября 1923.

13 "Литературные беседы", Звено, 23 января 1927.

14 "Парижские поэты", Дни, 4 марта 1928.

15 "О простоте и "вывертах". Последние Новости /далее — ПН/, 13 сентября 1928.

16 Обзор в Числах, 2/3 /1930/, 239-40. В том же номере отчет о литературном вечере, устроенном Числами, на котором Георгий Иванов критиковал людей, которые "используют Пушкина как дубинку для битья своих противников".

17 "Уроки словесности", ПН, 18 октября 1928.

18 "Пушкин и Лермонтов", ПН, 1 октября 1931.

19 Георгий Федотов был одним из первых, провозгласившим существование Парижской школы под водительством Адамовича /"О парижской поэзии", Ковчег: Сборник русской зарубежной литературы /Н-Й, 1942, 189-96/. Глеб Струве в кн. Русская литература и эмиграция /Н-Й, изд. им. Чехова, 1956/ отрицает существование такой школы.

20 Необходимо отметить, что впервые стихи парижских молодых поэтов стал публиковать Марк Слоним в своем журнале Воля России /Прага, 1926/; Адамович приветствовал эту публикацию /Звено, 11 апреля 1926/.

21 Числа, I /1930/, стр. 5-7. Вышло десять номеров журнала, который консерваторы критиковали за декадентство и снобизм; основание журнала вызвало разногласия в эмигрантской общине и стимулировало полемику между Ходасевичем и Адамовичем. См. Струве, Русская литература в изгнании, стр. 213 и далее.

22 "Комментарии", Числа; I /1930/, 141. Эта и многие другие статьи были в исправленном виде републикованы в кн. Комментарии /Вашингтон, изд. В. Камкина, 1967/.

23 Как и в вышеупомянутой дискуссии о Пастернаке.

24 "Начало", СЗ, 41 /1930/, 500-511.

25 "Подвиг", Возрождение, 5 янв. 1932.

26 "Книги и люди", Возрождение, 5 января 1933.

27 В русском варианте эта статья появилась в книге Шаховской "Отражения" /УМСА-Press, 1975/, 40-66.

28 В.Варшавский, Незамеченное поколение /изд. им.Чехова, 1956/, стр. 187.

29

30 "Литературные заметки", ПН, 29 марта 1934.

31 "Кризис поэзии", Возрождение, 12 апреля 1934.

32 "Новые стихи", Возрождение, 28 марта 1935.

33 "Жизнь и 'жизнь'", ПН, 4 апреля 1935.

34 "Жалость и 'жалость'", Возрождение, 11 апреля 1935.

35 "Оценки Пушкина", ПН, 25 апреля 1935.

36 На это указывает Иваск в своей замечательной статье о предвоенной эмиграции: Крий Иваск, "Поэзия 'старой' эмиграции в кн. Русская литература в эмиграции, сб. статей под ред. Н.П.Полторацкого /Питтсбург, 1972/, стр.45.

37 М.Цетлин, "О современной эмигрантской поэзии", СЗ, 58 /1935/, стр.452-61.

38 Вкус и, возможно, гордость определили двойственную несправедливость отношения Адамовича к творчеству Цветаевой; Ходасевич высоко ценил ее, а Адамович недолюбливал ее стиль, столь далекий от "Парижской ноты". Но и Ходасевича порой гордость делала упрямым. Его отношение к Пушкину постепенно становилось столь закостенелым, что один известный ученый печатно заявил, что даже прижатый фактами к стене, Ходасевич будет упрямо доказывать свою правоту. См. М.Л.Гофман, "Спору о Пушкине", ПН, 3 января 1929.

39 V. Nabokov, *Speak, Memoirs* /N.Y., 1966/, 285, цитированный отрывок принадлежит ранней версии, опубликованной в Partisan Review, 18, III /1951/, где Набоков упоминает Мережковского и Адамовича по имени. Что до Адамовича, то он порой находил роль вождя утомительной, но, как заметила Шаховская, "как человеку, ему льстило поклонение и обожание" /см. Отражения, 45/.

40 Струве, Русская литература в изгнании, 221.

41 "Пушкин", Мосты, 9 /1962/, 148.